

РОЗА ЛУРДЕН

Леону-Полю Фаргу

«Вы даже не можете себе представить, как уродовали нас гладкие прически, когда у всех одинаковые широкие гребни, а косы убраны сзади в неприглядную черную сетку. Все мы казались друг другу уродливыми и несчастными. Во всяком случае, я была несчастна в том пансионе, затерянном в захолустье. Кажется, тогда у меня постоянно мерзли руки и ноги; я была маленькой, молчаливой девочкой. Все, что есть во мне живого, веселого, пришло с первой девичьей любовью. Наставницы в том пансионе кантона Юра говорили, что я „из самых низов“.

Я услышала о Розе Кесслер еще до того, как ее увидела. Это было вечером, когда я приехала. Наверное, все ее знали — старшие говорили о ней, срываясь на крик:

— Розхен! Розхен!..

Я спрашивала себя, как в точности пишется это слово. Потом однажды увидела, что оно написано мелом на черной доске. Я думала, это такая фамилия, — там нас никогда не звали по именам. Старшие спросили меня: „Как тебя зовут?“ — и стали смеяться, когда я ответила: „Роз“.

Мне следовало привыкнуть, что я должна отвечать, когда зовут по фамилии: „Лурден!“
Словно, оказавшись там, мы оставили свои имена дома. Единственным исключением была Розхен, поскольку, кажется, это имя очень ей шло: Розхен...

Мне нравилось, когда на меня бранились. Думаю, я часто нарочно делала недозволенное, чтобы меня ругали. Но не стоит думать, что оно не причиняло мне боли, наоборот. Первый раз мне казалось, я просто умру. Это случилось за ужином. Наставница сделала мне замечание по поводу внешнего вида. Я была этим очень горда и подумала, что мне удастся как-то смягчить боль от ее осуждения, обратив все в шутку, я улыбнулась, словно бы говоря наставнице: „Да, но ведь ничего страшного не случилось. Вы слишком добры, чтобы желать мне зла!“

Та женщина была близорукой. Вероятно, поэтому она не смогла различить, что означала моя улыбка. Внезапно она с перекошенным лицом накинулась на меня, обозвав маленькой негодяйкой и крича, что не потерпит подобного поведения. Мне исполнилось тогда двенадцать, но я чувствовала, что она обозлилась на меня, как если бы мы были ровесницами. В столовой все замолчали. В наказание она поставила меня в угол, и я пробыла там до конца ужина, дрожа всем телом. Всю ночь я рыдала, глотая слезы. Временами успокаиваясь, я думала о несправедливости наставницы, изо всех сил спеша

припомнить случившееся, и слезы тогда лились снова. В конце концов я уже заставляла себя плакать, думая: „Когда она завтра увидит мои заплаканные глаза, она раскается. Тогда я ей все прощу и стану любить“. Мне казалось, я уже ее полюбила. Мы будем прогуливаться вместе по дворику. Она будет моей самой большой подругой... Но она ни в чем не раскаялась, и потом я забавлялась, открыто над ней подшучивая.

В другой раз я как-то случайно сдала диктант без единой ошибки, а учительница французского обвинила меня в том, что я списала, и никак не хотела верить обратному. Я долго наслаждалась своим отчаянием. Пыталась испить его до последней капли, оно владело мной целых два дня, а потом, когда все прошло, я грустила, что оно кончилось слишком быстро. Тем не менее это была незабываемая несправедливость. Лет через двадцать я где-нибудь встречу эту особу и скажу ей: „Помните тот диктант? Так вот, я не списывала“. Но эти двадцать лет, что должны служить мне верными свидетелями, висели надо мной, словно гигантская горная цепь, жуткая, мрачная, и была я словно в неведомой мне стране.

Когда я страдала, я говорила себе, что все в порядке, что это пройдет, как прошли другие беды, что мои тяготы преходящи, что в этот самый момент кто-то мучается гораздо сильнее и что в конце концов я ведь умру. Но я прирастилась ко вкусу слез, которые сдержива-

ла, которые, казалось, лились из глаз прямо в сердце, укрытые бессловесной маской. Я собирала их, будто они были сокровищами, источником, найденным посреди дневных страстей. Вот почему мне нравилось, когда на меня кричали.

Но когда мне хотелось утешиться, достаточно было подумать о Розхен. Ей исполнилось тринадцать в тот год, о котором я вам рассказываю, — на год больше, чем мне, — и она училась уже в старшем классе. Она была из немецкой Швейцарии, из-за чего ее прозвали Пруссачкой. Я еще ни разу с нею не заговаривала, но глядела на нее столько, сколько могла, и каждый вечер перед сном думала о ней с нежностью.

На переменах она все время ходила с двумя приятельницами. Она шла посередине, держась с ними за руки. Я не теряла ее из вида и вскоре уже знала все черты ее светлого, ясного образа. Она была смешлива и имела обыкновение вдруг резко вскидывать голову и стремительно убежать прочь. Быстрые и радостные звуки ее шагов по плитам внутреннего двора стали для меня хорошо знакомыми. О, что творилось тогда с моим сердцем! Все мое существо замирало в ее присутствии, и я осмеливалась смотреть на нее лишь тогда, когда она отдалялась. Чуть широка в плечах, с обрисованной четко грудью, тонкой талией, округленными бедрами, превосходно смотревшейся на ней юбкой — если б не ее возраст, она вполне могла быть сре-

ди старших. Иногда я старалась сделать так, чтобы на построении оказаться прямо за ней. У нее был красивый затылок, под короткими светлыми волосами и тонкой кожей были едва заметны сухожилия, напоминавшие о чайных розах моего детства... Я не могла бы сказать, когда это началось: все бытие ее стало вдруг для меня неимоверно ценным. Для меня была дорога каждая капля крови, струившейся в ее венах.

Она заметила, что я подолгу смотрю на нее; однажды, когда мы случайно повстречались на лестнице, она глянула на меня лучистыми голубыми глазами, и взгляд ее был полон злобы и ненависти.

И наконец однажды я вдруг поняла, что люблю ее больше, чем собственную мать и сестер. Стоял вечер, в тиши слышалось пение птиц, откуда-то издали доносились детские крики, на землю ложились робкие тени, будто сковывал их вечный сон среди каменных лестниц и балконов старого монастыря. Я шла по коридору с витражами в оконных рамах, пространство было пронизано жаркими розовыми лучами, сердце сдавило так сильно, что я шла все быстрее, дыша ртом, выдыхая: „Люблю тебя!“ Отныне в этом мире появилась великая тайна — моя тайна. Вскоре меня окружили другие девочки, приятельницы по классу. Всех их я считала либо скучными, либо злобными, но я была вынуждена проводить с ними все перемены. Особенно выделялась среди них одна:

вся какая-то квадратная, с большими руками и лицом как у пожилой женщины; кожа нездоровая, оттенка сыворотки; равнодушные глаза навывкате с неприятными смуглыми кругами; голос писклявый, надсаженный; не могу передать, какое отвращение и даже ужас она во мне вызывала. И что же, именно ей я старалась понравиться, пыталась угодить, пресмыкалась, говоря вещи, которые, как мне казалось, могли ей понравиться, но во всем противоречили тому, что я думала на самом деле. Чем большее неприятие я к ней испытывала, тем больше ей льстила, подражая ей, повторяя ее движения, предвосхищая ее капризы. Стремление пасть еще ниже потом прошло, но тогда нас — меня и это создание — считали подельницами, о нас говорили: „Два сапога пара“.

Что же касается Розхен, у нее были две любимые подружки и приятельницы из старших. Нас все разделяло, я охотно воображала всевозможные напасти — например, пожар в пансионе, — которые позволили бы мне спасти ей жизнь и стать подругой. Порой мне хотелось ее подразнить, пройдя мимо по двору, задеть, рассердить, вынудить, чтобы она поколотила меня. Ах, если бы она побила меня или хотя бы толкнула! Но от одной мысли о ее прикосновении я чувствовала изнеможение.

Я почти ничего о ней не знала; могу даже сказать, что совсем ничего не знала, поскольку видела ее лишь вдалеке в столовой и на переменах на школьном дворе. И все же к концу

зимы мне удалось посмотреть на нее поближе, это было во время вечерних занятий, в сестринской.

Около восьми одна из молодых наставниц — мадемуазель Шписс, которая была из той же страны, что и Розхен, — отворяла двери классов, бормоча: „В сестринскую!“

Тогда простуженные и те, кому надо было сменить повязку, вставали и цепочкой шли за учительницей в сестринскую. Розхен полагался отвар, к тому времени предписали его и мне.

Почти каждый вечер, возвращаясь из сестринской и подходя к карцеру, мадемуазель Шписс кричала:

— Кесслер! Вы опять болтаете на построении? Прошу вас в карцер! Ждите, сейчас вернусь... Какая непослушная!

Попасть в карцер было наказанием, которого страшились все маленькие девочки. Мне никогда не приходилось там оказаться, для меня это было бесчестьем, несмываемым пятном. Розхен же шла туда по своей воле и даже с улыбкой. Я восхищалась ее спокойствием и бесстыдством, почти что геройством. Когда же она выходила из карцера, то даже не была заплаканной. А такая растяпа, как я, на ее месте не могла бы и на глаза никому показаться.

Однажды вечером мне даже почудилось, она нарочно говорит слишком громко и дурно себя ведет, возвращаясь из сестринской. Она как будто умышленно бросала мадемуазель

Шписс вызов, напрашиваясь, чтобы ее заперли в карцере.

В другой вечер, когда она выбралась из карцера и шла к дортуару, одна из старших обняла ее за талию и что-то шепнула на ухо. Розхен дышала ей прямо в лицо, они глядели друг на друга и хохотали. Меня пронзила тогда острая боль, и я едва сдержалась, чтобы не закричать. На лице старшей читалось какое-то дьявольское выражение; Розхен прислонялась к ней — на щеках румянец, рот приоткрыт, глаза сверкают от влаги. Всю ночь я не могла уснуть.

Я еще с ней не заговаривала. Я думала, она упрямая гордячка и даже немного „туповата“, как мы говорили. Мысль о том, что она разгадала тайну, была для меня невыносима.

К тому времени я уже так сильно к ней привязалась, что это, вероятно, могло показаться старшим смешным. Я гордилась, что меня зовут Роз — почти так же, как и ее; чтобы походить на нее, я начала подписывать задания „Роза Лурден“, поэтому наша наставница сочла меня легкомысленной. Я вся была во власти этого имени, была влюблена в него; мне казалось, оно создано именно для нее — для этой смешливой светловолосой девочки...

Однажды я воспользовалась длинным перерывом в три часа, чтобы подняться в дортуар Розы Кесслер, где надела ее сменную блузу. (В учебные дни недели мы носили черные блузы, застегивавшиеся на спине и скрывавшие

под собой прочую одежду.) Это было настоящее приключение — я помню все в малейших подробностях. Помню три высоких окна — трех строгих дам в белом, охранявших эту пустыню постелей. Сквозь их впалые глазницы внутрь проникало простершееся над городком безропотное небо, ложившееся синеватыми лужицами на воощеный паркет. Как же забилося сердце, когда я затворила за собой дверь! Я метнулась тогда к раздевалке. Там я была спасена. Сняла свою блузу и надела ее. Я впервые надевала чужую вещь; тогда я не предполагала, что это станет моей профессией. Внезапно я услышала в дортуаре какой-то шум. Я вышла из раздевалки навстречу опасности. Ничего не стряслось — я не до конца закрыла задвижку, и дверь отворилась. Бросившись туда, я изо всех сил на нее навалилась. В просвете я заметила, что кто-то из девочек узнал о моей тайне, тогда у меня мелькнула мысль об убийстве. Я вернулась в раздевалку... О, это свидание с черной блузой маленькой воспитанницы! И ведь я обещала себе рассказать вам все без тени смущения!

Я прижимала эту ткань к себе, наслаждалась ею, утыкалась в нее лицом. Я взяла также узкий кожаный ремешок; Розхен написала на белой изнанке свое имя. Едва касаясь, я дважды или трижды целовала его. Я собиралась подпоясаться им, но вдруг представила, как выгляжу со стороны. И все мне показалось таким смешным, что я быстро накинула собственную блу-

зу, а ремешок и блузу Розхен повесила обратно на крюк и бегом спустилась во двор. Там под ручку с одной из взрослых прогуливалась Роза Кесслер. Я увидела ее рассеянный взгляд и ощутила покой и счастье. И даже, проходя мимо, осмелилась посмотреть ей прямо в лицо и чуть улыбнуться.

Однажды вечером после каникул мне было очень тоскливо, и мадемуазель Шписс встретила меня в коридоре в тот самый момент, когда я уже была готова заплакать. Она была хорошей; она сжалилась надо мной и сказала:

— Мне нужно подняться в комнату, присмотришь за моим бюро.

(У нее был небольшой кабинет между учебных классов). Я ответила:

— Да, мадемуазель.

— Хорошо. Садись здесь... Если тебе скучно, я велю позвать одну из твоих приятельниц, она составит тебе компанию.

— О! Да, мадемуазель.

— Кого же позвать?

Я собиралась сказать „Кесслер“, но что-то в ее взгляде меня остановило. Мне показалось, она прочла мои мысли и ждет ответа, чтобы надо мной посмеяться. Поэтому я назвала неуспевающую ученицу из своего класса, которая была взбалмошной и глупой и порой меня задирала...

Целыми месяцами жизнь моя наполнилась заботами о том, чтобы увидеть Розхен, надеждами, что представится случай и я смогу оказать

ей большую услугу. Но я была слишком застенчива, чтобы оказывать ей знаки внимания.

Но именно тогда, когда я ее не видела, я чувствовала ее ближе всего. Сказала ли я вам, что она была отличницей? Да, в тот самый год она получила все мыслимые награды в классе. Только из-за этого я хотела бы сама стать отличницей. Но я была не в состоянии приспособиться к систематическому труду. Я восхищалась ею, восхищалась тем, что в одно и то же время она была и милой, беззаботной девочкой, и прилежной воспитанницей. Какое будущее ей уготовано? Она станет выдающимся ученым или известной артисткой; ее красота и талант покорят весь мир; я же, пребывая во мраке, стану возлюбленной ее подругой, наперсницей, которой она поверяет самые сокровенные мысли. Я гордилась тем, что люблю ее.

Во время летних каникул я гостила у друзей моих родителей, там служила горничная родом из Бадена. Я делала все, чтобы как-нибудь с нею сблизиться, — хотела выведать у нее, как по-немецки звучат некоторые выражения. Родители были изумлены и разгневаны, что я постоянно верчусь возле этой девушки. В конце концов однажды она сказала мне, что в Южной Германии, если хотят назвать девочку по имени Роза ласково, чаще говорят „Розель“.

Когда вновь начались занятия, я проделала опыт.